# Мой друг Андрей Кожевников

# Сергей Снегов

### 1

Он появился в нашем опытном цехе необычно. Во-первых, не в бригаде, а индивидуально — правда, под охраной стрелка, доставившего его сразу к начальнику и передавшего там под расписку. В таком небригадном способе хождения еще не было необычайности, многих заключенных перемещали из одной зоны в другую поодиночке. Но он был одет в вольную одежду, и много лучше, чем наши местные «вольняшки». Это нас всех, не исключая и вольнонаемных, поразило.

Я постараюсь описать его удивительный наряд — он надолго сохранился в моей памяти. Прежде всего, у новичка была роскошная шапка темного меха. «Соболь!» — убежденно доказывал нам Исаак Копп, из репрессированных перед войной прибалтов, он считал себя крупным знатоком мехов. А на ногах нового заключенного были не ботинки, не сапоги, тем более не выданные нам по случаю осени валенки второго сорта (очень «бе-у»), а настоящие северные унты с собачьим мехом внутри и снаружи. Но самой замечательной частью наряда было, конечно, пальто — кожаное, кофейного цвета, на меху, с внушительным шалевым воротником. Самые высокие норильские начальники и мечтать не могли о таком одеянии.

Его появление вызвало толки во всех многочисленных уголках нашего опытного цеха, который, по общему заключению, «размножался почкованием», — это означало, что к основному помещению каждый год пристраивались новые крохотные комнатки для умножающихся служб и отделов.

— Большой начальник был недавно, — оценил нового заключенного Федор Витенз. — Такую одежду не покупают и не дают по блату. Она выдается только в порядке элитного снабжения. Взяли на работе, не успел переодеться.

— Ну и дурак! — высказал свой взгляд на незнакомца наш цеховой кочегар Володя Трофимов, хороший парень и работяга, за недолгую жизнь успевший навесить на себя несколько судимостей, и последнюю по грозной 59-й статье, карающей организованный бандитизм.

— Почему дурак? — поинтересовался я. У меня с Трофимовым были добрые отношения, я часто беседовал с ним, дружески дознаваясь, как он попал в разбойное «кодло» и как намерен жить после освобождения, если когда-нибудь выйдет на волю — для таких, как он, будущее освобождение всегда виделось проблематичным, на завершенный «по звонку» срок тут же навешивали новый.

— Вот еще — почему! Натуральный псих! В таких шмотках появиться в зоне! Да его в первый же вечер измантузят и вычистят.

— Он может и не дать себя раздеть. С таким надо будет побороться. — Я заметил, что новый заключенный, коренастый и крепкокостный, принадлежит если и не к богатырям — по росту не тянул на богатыря, — то к борцам-средневесам вполне может быть отнесен.

Трофимов презрительно покривился.

— Как это — побороться? Засопротивляется — дадут пером в орла. За такое роскошное шмотье наши не побоятся нового срока.

— Ты-то хоть не свяжись по этому делу с твоими «нашими».

— Мне-то зачем? Недавно присмотрел в зоне одну деваху. И ей, и мне через три года на волю. Слово ей дал, что додержусь до звонка без добавок.

В этот же день наш начальник, после долгого разговора с незнакомцем, повел его по всем помещениям цеха — знакомить с нашей работой. В мою комнатку оба зашли, когда я прокаливал в муфельной настольной печи осадки растворов, доставленные от химиков. Рядом с печью на столе стояла коническая колба Эрленмейера со свежезаваренным чаем. Незнакомец сперва с наслаждением втянул в ноздри чайный аромат, потом подал руку.

— Андрей Виссарионович Кожевников, металлург-цветник.

— Андрея Виссарионовича привезли сегодня в Норильск и сразу доставили к Звереву, — сообщил начальник. Он, хоть и чистопородный вольный, даже член партии — впоследствии довысился в Москве до заместителя наркома электроэнергетики, — не разрешал себе обращаться к заключенным инженерам иначе, как по имени-отчеству. — Будет и у нас работать по специальности.

— Буду, — подтвердил Кожевников. — Правда, я в последние годы — вольфрамщик, но раньше и медью занимался. Металлургию никеля придется осваивать заново. — Он показал на колбу и спросил: — А как у вас с чаем? Без чая не существую.

— С чаем у нас хорошо, — успокоил я его. — И в лавочке для заключенных продается, а если не хватит нашей нормы, у вольных всегда можно купить.

— Чаем я вас обеспечу, — сказал начальник. — Я не любитель чая, у меня всегда остается от пайка.

Я не удержался и спросил Кожевникова:

— Вы пойдете в лагерь в своей одежде, Андрей Виссарионович? Это небезопасно. Воров и бандитов у нас хватает.

— Знаю, — сказал он. — Владимир Степанович Зверев обещал, что выдадут незамедлительно лагерное обмундирование первого срока. Мы ведь с ним в прошлом кончали один институт, оба ученики профессора Мостовича. Свое имущество я все же постараюсь сохранить.

После ухода начальника с Кожевниковым я оповестил соседей, что Кожевников металлург, что он в прошлом добрый знакомый грозного Зверева, в те дни главного инженера Норильского комбината, и что, видимо, наш новый сотрудник будет под начальственной опекой старого знакомца — и, следовательно, удостоится блата, нам неведомого. Такому человеку можно не опасаться нападений в зоне.

Все оказалось иным, чем мне поначалу представилось.

Кожевникова поселили в том же бараке, где жил я. В первую же ночь его обворовали. Операция совершилась без рукоприкладства, без угроз ножами, без кровопусканий. Кожевников, ложась, тщательно выполнил необходимые охранные меры — не снял с себя шапки, положил унты «в голова», они были гораздо удобней наших соломенных подушек, а сам растянулся на роскошной дохе, она была тоже мягче барачных подстилок. Ночь он проспал спокойно, а утром обнаружил, что покоится на голых досках — ни шапки, ни унтов, ни дохи и в помине не было.

Что-то лагерное из одежды нашлось к утреннему разводу. Кожевников прибыл в опытный цех уже бригадно, а не единично, еще больше поразив нас своим новым видом — самые отъявленные из наших штрафников «промотчиков» не напяливали на себя подобное грязное рванье.

— Что я тебе говорил? — победно сказал мне Трофимов. — Плевать нашим на прежние знакомства новенького. Старый блат не ходит в зоне в козырях.

Он не радовался несчастью Кожевникова, но был удовлетворен, что его предсказания оправдались и прежние «кореша» не оплошали. Он не сомневался, что Кожевникову вовек уже не увидать исчезнувшего имущества. Меньше всего он — да и все мы — мог предвидеть бурю, разразившуюся в лагере спустя несколько часов.

Кожевников, доставленный в ОМЦ, кинулся к цеховому телефону. Нам строго запрещалось пользоваться аппаратом, но Кожевникову начальник разрешил без упрашиваний. Мы не слышали, с кем шел разговор, но не сомневались, что со Зверевым. Вечером, уже в зоне, придурки из конторы с наслаждением распространялись по всем баракам о делах, совершившихся в конторе Лесина, начальника нашего шестого лаготделения. Капитан Лесин сам был не из тех, на кого можно без отпора цыкнуть, но в этот раз сидел за столом бледный, рука, державшая телефонную трубку, дрожала, а всех ответов и оправданий хватало только на мямлю: «Слушаюсь... Не допущу... Сам пойду искать... Гарантирую... Сгною в карцере... Слово даю...» И то, чем он немедленно занялся после беседы со Зверевым, лучше любого словесного объяснения устанавливало, каким тоном с ним разговаривал главный инженер и какие кары пообещал полковник НКВД подчиненному капитану — Зверев и с равными по званию не ограничивал себя ни в общей лексике, ни в специальных энкаведистских угрозах. Не прошло и четверти часа, как все коменданты и нарядчики зоны собрались в конторе и им было возвещено, что все они завтра же отправятся на самые тяжкие общие работы, если к вечеру пропажа не обнаружится. И что вообще настала пора подумать, точно ли они оправдывают его, Лесина, доверие. Он им поручил стать своим помощниками, обеспечил легкой работой, теплом и одеждой первого срока, но ситуация складывается так, что некоторым за нерадивость, равнозначную прямому вредительству и грабежу, придется навешивать дополнительный срок. Он только что дружески поговорил с главным инженером комбината, товарищ полковник соглашается, что без крупного ужесточения режима не обойтись.

И коменданты, и нарядчики отлично разобрались в обстановке. Когда Кожевников вечером вернулся в зону, в бараке его ждал сам старший комендант с нарядчиком бригады металлургов. И, вручая пропавшую одежду, по форме доложил:

— Все в полном порядке, товарищ инженер, сами проверьте. Кто совершил кражу, не установлено. Пропажа обнаружена в глухой заначке в баке с мусором, подготовленном к вывозу. Тщательно вычищено и отмыто. — И закончил вполне по-лагерному: — С вас пол-литра, товарищ инженер.

Кожевников показал, что лагерные порядки ему не внове.

— За усердие считайте с меня бутылку. Расплачусь, когда заимею деньжата. Подскажите, к кому обращаться за снабжением, я здесь новый, ходов не знаю.

На другой день состоялся мой первый длинный разговор с Кожевниковым. Он приступил к исполнению своих функций инженера-металлурга. Точно очерченных обязанностей ему не установили. В плавильном цехе мощно трудился пирометаллург Иван Боряев с помощником Исааком Коппом — и там не требовалось других специалистов: Иван просто не потерпел бы, чтобы в его дела кто-нибудь вмешивался. Два других металлурга осели в электролизном отделении — Ильин и Алифбаев, оба казахи, оба в недавнем прошлом директора металлургических предприятий в горном Казахстане. Старый неказистый Ильин притыкался с утра в дальний уголок и что-то писал — не то очередную жалобу в Верховную прокуратуру, не то рацпредложение по усовершенствованию его старого заводика. А крупный телом Аббас Аббасович Алифбаев, по природе «начальник замедленного действия», как хлестко окрестил его Боряев, медленно и важно расхаживал между ваннами, стараясь не прикоснуться к змеящимся повсюду проводам. В такой компании Кожевникову нечего было делать.

Он выбрал для «убийства времени» мою потенциометрическую. Здесь всегда можно было вскипятить чай, имелся и лишний стул и даже отличный стол — свободный уголок стенда, на котором я разместил свои приборы: муфельную печь Марса, реостаты и главное сокровище — великолепный американский потенциометр для измерения «пе-аш», кислотности металлургических растворов. Было еще одно достоинство для Кожевникова в моей комнате. Приборами и измерениями он не интересовался, но к его услугам имелся хороший собеседник — я принадлежал к тем, кто не только умеет, но и любит слушать интересные повествования. Кожевников охотно этим пользовался.

Помню, что первая наша продолжительная беседа была посвящена происшествию с его роскошным одеянием.

— Собираетесь и дальше щеголять в дохе и драгоценной шапке? — поинтересовался я.

— Что вы, что вы! — воскликнул он. — И в мыслях не держу такого безумства. Сегодня ночью меня обокрали. И возвратили только с испугу — ваш начальник Лесин кипел и колотил ногами, так мне рассказывали. В другой раз постараются, чтобы не было кому возвращать. Прирежут в темноте — ножом в сердце или по-ихнему пером в орла. Не сомневаюсь ни минуты.

— Что же вы собираетесь предпринять, Андрей Виссарионович?

— Как что? Все загнать! Свободные деньги в лагере нужней, чем дорогие шапки и доха. Сегодня же вечером начну переговоры с комендантом и нарядчиком, чтобы подобрали хорошего покупателя. Немало в вашем Норильске вольных, которые не пожалеют денег за мое обмундирование.

— А вы не боитесь, что пока заключенные комендант и нарядчик будут искать щедрого покупателя, их кореша осуществят указанный вами вариант с пером в орла?

— Вот уж чего решительно не опасаюсь. Зачем им понапрасну рисковать новым сроком? Ведь я согласился продать свою одежду, зачем же ее отнимать с убийством? Они разумные люди, хотя и бандиты. Я все рассчитал, будут действовать по моей росписи. При честной продаже они, как посредники, заломят максимальную цену и им самим отвалится солидный куш. А вещи убитого загнать можно только за мизер, да еще надо найти в покупатели смельчака, моя одежда ведь сразу бросится в глаза, в ней не покрасоваться. Нет, нет, немыслимо сделать торговую операцию на крови. Сварганят дело по справедливости и с хорошим покупателем, щедрым и щеголем. Больше того. Пока его не разыщут, я буду пребывать в полнейшей безопасности, даже свою охрану мне обеспечат, чтобы какой-нибудь шакал не стибрил. Другое дело, когда получу мою долю коммерческой сделки. Тут придется самому позаботиться о личной безопасности в смысле охраны выторгованных денег.

Меня, признаюсь, впечатлило, с какой спокойной рассудительностью Кожевников анализирует варианты своей возможной гибели от ножа бандита и выгод, если того же бандита он превратит в торгового агента и личного охранника. Все это решительно не вязалось с моим отношением к лагерным героям — придуркам и лбам, сукам и чеснокам, в общем, ко всем, кто числил себя в «кодле своих в доску». И я выразил свое отношение к проблемам Кожевниковой одежды по-своему:

— У вас, конечно, есть еще одна могучая защита от бандитов — поддержка Зверева, перед которым трепещет даже лагерное начальство. Вы всегда можете обратиться к нему за помощью.

— А вот это — нет, — возразил Кожевников и улыбнулся, словно говорил о чем-то радостном. У него была своеобразная улыбка, умная и добрая, но очень редко соответствующая содержанию идущего разговора. — Что Зверев оказывает мне благоволение, стало известно в лагере всем, и это на моем будущем отразится благоприятно. Но звонить ему о новой услуге я не буду. Зверев не из тех, кого можно непрерывно упрашивать о благодеяниях.

— Он, конечно, суров и жесток, но вы же его старый товарищ...

— Повторяю — нет! Прежде всего, он перешел со мной на «вы» и подчеркнул, что так будет впредь. И во-вторых, он сказал мне: «Я сделал все, что мог, теперь в лагере будут страшиться обижать вас. Надеюсь, вам не придется обращаться еще раз за содействием!» Это не намек, а ясное указание на обстановку. Я понял его точно, как он хотел. И никогда больше не буду ему звонить. — Кожевников помолчал и добавил: — Было еще одно важное обстоятельство в наших отношениях, но о нем как-нибудь в другой раз.

### 2

Все совершилось, как Кожевников спланировал. Никто его не обижал, блатные даже обходили, памятуя о властительном покровителе. И одежду он продал — естественно, без большого прибытка, львиная доля досталась посредникам. И деловые функции разыскал себе в цехе — Тимофей Кольцов в электролизе разбирался, но как производственник, а Кожевников быстро проник в физико-химию процесса.

Свободное от дела время он проводил в моей комнате, не мешая мне производить измерения, — непрерывно кипятил воду и заваривал крепчайший «получифирный» чай. До знакомства с ним я и не подозревал, что можно так много поглощать жидкости и так — почти до приторности — сдабривать ее сахаром.

Однажды я напомнил ему, что какие-то тайные обстоятельства вмешивались в его отношения со Зверевым, — мне хотелось бы узнать, что они собой представляли.

— Ах, это! — сказал он. — Знаете, будет очень длинный рассказ.

— Я примирюсь с любой длиной, — ответил я. — До освобождения еще много лет, надо заполнить это время интересными разговорами.

Рассказ его получился не только интересным, но и клочковатым. Кожевников растекался мыслию по древу, прерывал повествование, когда вызывали в цех, вновь приходил и, не торопясь, вновь живописал историю последних лет жизни. Я постараюсь передать его рассказ своими словами.

Сразу по окончании института Кожевникова послали налаживать цветную металлургию в Монголии. О минералогических и рудных богатствах этой страны имели тогда преувеличенные представления. После продолжительного скитания по Северной Монголии — роскошная одежда привезена из тех поездок — он осел в южном Забайкалье директором Джидинского вольфрамового комбината. Комбинат, не такой уж большой, но немаловажный, помог ликвидировать в стране голод на нужный металл. В предвоенном году подошло время уходить в отпуск. Он прилетел в Ленинград на родную квартиру, познакомился с интересной женщиной, накупил ей подарков, сделал предложение, получил согласие — и с головой погрузился в предсвадебные хлопоты. И тут его срочно вызывают в Москву к одному из заместителей Берия. Заместитель информирует, что на севере страны возводится огромный медно-никелевый комбинат. Заключенных туда навезено — тьма, а настоящих специалистов по цветным металлам — нехватка. И вежливо интересуется:

— Не хотели бы вы, товарищ Кожевников, полететь в Норильск главным инженером комбината?

— Ни в коем случае! — ответил Кожевников. — У меня на очереди устройство семьи. На этой неделе свадьба.

— Свадьбу можно устроить в Норильске. Нужную праздничную обстановку создадим, можете не сомневаться.

— Да почему такая срочность? — возмутился Кожевников. — Не хочу я никакого Заполярья! Неужели на мне клином сошелся весь ваш производственный мир?

— Клиньев нет, — терпеливо разъяснил заместитель. — Мы недавно послали в Норильск вашего однокашника Владимира Степановича Зверева, он туда прилетел начальником правительственной комиссии, обследовавшей комбинат. Его вывод — без знающего и властного главного инженера комбинату трудно. Тут вы приезжаете в отпуск. Общее мнение — лучше кандидатуры не найти. Так что надеемся на ваше согласие.

— Согласия моего не будет! — отрубил Кожевников.

— Очень жаль, — подвел итоги заместитель наркома.

— Будем искать другие варианты, раз отвергаете предложенную вам должность.

Кожевников воротился в Ленинград. В ночь перед свадьбой за ним пришли. И потянулась долгая тюремная хлопотня — меняли тюрьмы, меняли следователей, выбивая вину в масштабе заранее запланированного преступления. Кожевников изведал и ласковые уговоры, и несусветную брань, и рукоприкладство, и стояние навытяжку под неугасимым огнем двухсотваттной лампочки. Он изнемог и понял, что предписанной свыше судьбы не отвести. Сказал — пишите, черт с вами — и подмахнул признание, что вредитель и антисоветчик, только шпионаж отверг, были и такие попытки. По твердому чекистскому соображению — раз побывал за границей, стал враждебным агентом.

— И пока меня мордовали в тюрьмах, главным инженером назначили Владимира Степановича, — завершил Кожевников свой печальный рассказ. — А меня после суда в тот же Норильск простым заключенным. Теперь вы понимаете, как необычно сложились наши отношения со Зверевым и почему я больше не могу домогаться хоть малейшей его подмоги.

— Вы правы. Однако, остряки эти ваши замнаркомы. Ушутить такую злую издевку! Между прочим, я знаю еще одну похожую историю — возможно, разыграл ее тот же высокопоставленный мерзавец. Вы слыхали о Николае Николаевиче Урванцеве?

— Фамилию слышал, но лично незнаком.

Я рассказал Кожевникову, что Урванцев — первооткрыватель норильских рудных сокровищ, трижды возглавлял геологические экспедиции в этот заброшенный Богом район. А в четвертый раз не захотел. Долгих уговоров не было. Его без промедления арестовали, пришили какую-то вину и увезли туда же, куда недавно прочили главным геологом края, но уже в качестве заключенного. В повести Кожевникова была одна недосказанность, и я обратился к ней, когда он закончил историю своего появления в Норильске.

— А как же ваша невеста, Андрей Виссарионович? Что с ней?

— Ничего не знаю о ее существовании, — ответил он равнодушно.

— Что значит — ничего? Она, наверно, интересовалась, что с вами, куда пропали, как надо выручать, если в беде?

— Может быть, понятия не имею.

Я помолчал, прежде чем задал новый вопрос:

— Не совсем соображаю ваше отношение... Вы что — не любили свою невесту?

Он ответил с большой рассудительностью:

— Наверно, любил, раз задумал жениться. И она, думаю, любила, раз согласилась на брак. Но, знаете, у нас к свадьбе шло без любовных истерик и других литературных взбрыков. Я в молодости читал у Гете про любовное бешенство некоего юнца Вертера, ну и у Шекспира про Отелло и Ромео. И удивлялся, до чего доводит людей любовная хворь. У нас все совершалось без литературщины. Цветы ей носил, подарки покупал, раза два провели вечерок в «Астории». Но вздыхать, закатывать глаза, то огорчаться без причин, то радоваться без оснований... Нет, все шло нормально.

— Хороша нормальность! Неужели даже письма вам не написала?

— Может, и писала, я не получал.

— И вы не пытались с ней связаться?

— А зачем? Она, конечно удивилась, что меня нет, возможно, пришла ко мне домой, а ей соседи сообщили, что меня увели под конвоем. Семьи мы не создали, даже постельной близости не было. Ни я ей ничего не должен, ни мне она ничем не обязана. Даже лучше, что меня арестовали до женитьбы. Были бы угрызения совести, что хоть и не по своей вине, но повредил благополучному течению ее жизни. Тащить на себе клеймо ЖВН — жены врага народа — ноша не из легких.

— Только ли угрызения совести были бы, Андрей Виссарионович?

— А что еще? — удивился он. — На что вы намекаете?

— Я ни на что не намекаю. Если можно, ответьте еще на один вопрос. Вы до вашей неудавшейся свадьбы ни кем не увлекались? У вас не было подружек? Если считаете нетактичным...

— Нет, почему же? Нормальный вопрос. Больших увлечений не было. О семье и не помышлял. То учеба в институте, то поездки по Сибири и Монголии, трудное руководство заводом. Не было времени на любовь. Не хотелось загружать себя посторонними для главного дела хлопотами.

Я больше не задавал ему рискованных вопросов. В отношениях с женщинами мы были слишком разными людьми. Я не оправдывал Отелло, но всей душой сочувствовал его терзаниям. И мне были близки несчастья Ромео, до боли понятны страдания Вертера. О женщинах с Кожевниковым не следовало говорить. Женщины для меня были слишком важной, слишком мучительной проблемой, чтобы чесать о нее языки.

### 3

Расширявшаяся война нанесла тяжкий удар главной жизненной страсти Кожевникова. В Норильске иссяк сахар. Вольные довольствовались своей полярной нормой, в ней сахара хватало. В лагере сладостей не продавали. Выписанной в пищевой каптерке сахарной выдачи даже мне хватало только на полмесяца, а Кожевников больше, чем на пять дней, не растягивал свой лагерный паек.

День, когда он загрузил в колбу Эрленмейера последние остатки желтого, плохо очищенного сахара — он поступал ныне не из захваченной немцами Украины, а из барнаульских степей, — был окрашен в траурные тона.

— Мне скоро конец,— хмуро объявил Кожевников. — Безо всего проживу, без чая с сахаром — не могу.

Мне его трагические прогнозы показались преувеличенными.

— В тюрьме вас не баловали крепким чаем с обильным сахаром, но жили. И сейчас выживете, Андрей Виссарионович. Воспользуйтесь тем, что в лагере пока можно достать. Чай ваш — получифирный. Перейдите теперь, как наши блатные, на прямой чифирь. Меня воротит, когда вижу, как они жадно глотают дегтярную бурду. Но вам, заядлому чаехлебу, может, и подойдет.

На чифирь он не перешел, побоялся, что сердце не вынесет злого напитка, но от прежнего темно-вишневого чайного раствора, хоть и без сахара, не отрекся. И вскоре с удовлетворением объявил мне, что понемногу привыкает к пустому чаю, ибо выяснил: главное в чае — сам чай, а не сдабривающий его сахар.

Близкая смерть от недостачи сахара была отменена.

В цехе Кожевников постепенно взял в свои руки всю технологию электролиза. Длинных бесед в потенциометрической уже не заводилось, но три-четыре раза в день он забегал ко мне — перекинуться хотя бы несколькими словами. Зато общение со мной, уже укоротившееся, превращалось в прямую привязанность. Кожевников стал опекать меня и в цехе, и в бараке: то напомнит, что пора идти на раздачу за едой, когда я зачитывался, то сам схватит миски и принесет мне еду, а в цех, когда я «записывался», прибегал напомнить, что пора на развод, уже пришел стрелок, — прячьте, Сергей Александрович, свои рукописи. Он почему-то — впрочем, так думали и другие — считал, что всякое писание в лагере опасно, лучше не брать в руки перо. Вначале я его разубеждал, потом бросил, он сам читал только техническую литературу и был глух к голосу стиха.

Иногда его заботливость простиралась так далеко, что я взбрыкивал.

В начале войны с очередным красноярским этапом прибыло много женщин. Почти всех направили в Нагорное женское отделение, отведенное преимущественно бытовичкам и блатным. «Пятьдесятвосьмячек» старались отгородить от уголовных, чтобы интеллигентные враги народа не портили здоровую, в принципе, идейную натуру проституток и воров. «Врагинь народа» старались поселить в наших производственных зонах, где и без них было полно «пятьдесятвосьмых». Среди отверженных от женской среды оказалась в нашей мужской зоне — на два десятка мужских бараков всего один женский — и молодая полька Адель Войцехович, недавно еще студентка Ташкентского университета.

Она сразу выделилась в немногочисленном женском коллективе нашей зоны. Нет, она обращала на себя внимание не только потому, что женщин у нас было мало. Она не потерялась бы и в обширном женском собрании, полном красавиц. И она не была красавицей, только хорошенькой. Зато ее натуральную белокурость все замечали, а голубые глаза были той ясности и чистоты, какие доступны только художникам с хорошим набором красок, но редко удаются обыкновенным родителям, творящим по обычаю, а не по наитию. И ее фигура была именно тех очертаний и пропорций, какие могла себе пожелать любая девятнадцатилетняя женщина. К тому же Адель приехала с платьями, купленными в старой вольной жизни, и еще не успела их променять на хлеб, масло и сахар. Такая женщина, даже при желании стушеваться, не могла этого сделать в мужской зоне. Получилось как у юной героини повести одного великого поэта:

Вступила в залу... Странный шепот встретил

Ее явленье — свет ее заметил.

Мы с Аделью познакомились на каком-то киновечере в лагерном клубе — она явилась, когда картина уже шла, и села около меня. Случайное знакомство в кинотемноте не помешало соседству перейти в дружбу. Мы вскорости уже гуляли вечерами по зоне, когда позволяла погода. У Адели было одно сокровенное желание, она часто им делилась — поступить когда-нибудь в театр, стать драматической актрисой. Она полагала, что у нее имеются все данные для успешного служения Мельпомене. Ей удаюсь убедить лагерного культурника организовать ее выход на сцену с чтением стихов и пеньем романсов. Посмотреть и послушать молодую женщину захотели все, зал был набит до «бочкосельдяной тесноты», как выразился кто-то. Она очень эффектно выглядела на сцене — высокая, стройная, в ярком крепдешиновом платье. Выход Адели встретили мощным «аплодисментажем», как выразился кто-то, ею охотней любовались, чем слушали стихи и романсы.

На другой день, когда мы гуляли с ней по зоне, нам встретился Лев Гумилев, вышедший из барака геологов, где он тогда жил.

— Адочка, я написал о тебе чудные стихи! — радостно закричал он. Хоть он и не ухаживал за Аделью, она ему нравилась.

И он торжественно задекламировал:

Со сцены нам поет Адель

Про нежность, верность и измену,

Она б украсила постель,

Отнюдь не украшая сцену.

Адель растерялась. Ей была приятна похвала ее женскому естеству, но и обидна оскорбительная оценка сценического дарования. Она сказала Гумилеву что-то резкое и покинула нас. Гумилев радовался, что стихи получились хорошие. Я не видел в этом ничего удивительного — сын двух великих поэтов не умел писать плохие стихи. Словесное его мастерство было генетическим даром.

Настал момент, естественно завершавший нашу дружескую связь с Аделью. Я пригласил ее провести вечерок в одиночестве, она согласилась. Несколько дней прошли в организационных хлопотах. Подготовить хорошее свидание в лагерных условиях непросто. Надо было заготовить разрешение на одинокую вечернюю работу, когда бригады возвращались в зону. Мне это было легко, мой начальник Федор Трифонович Кириенко не возражал, чтобы я оставался в вечернюю смену, он знал, что если я и буду тайно писать стихи, то одновременно на стенде совершатся и какие-то технологические эксперименты из намеченного им цикла исследований. Алели, работавшей в какой-то конторе, получить разрешение на вечернюю смену было трудней, но и она сумела это сделать. Оставалось уговорить нашего стрелка закрыть глаза на то, что мы с ней остаемся вдвоем. Что это удастся, я был уверен. Нашу бригаду конвоировал пожилой стрелок, уже не годившийся на фронт. Кондовый сибиряк-чалдон, он старался не показывать запретного сочувствия к заключенным, но и не свирепствовал. К тому же мы временами подбрасывали ему из своих пайков то махорки, то масла либо сгущенного молока, выдаваемого нам за «вредность», — работали с хлором, в атмосфере металлургических газов, в кислотных испарениях электролизных ванн. А в общежитиях вохры с началом войны установилась такая скудость, что даже хлеба не хватало, хоть их заполярный продовольственный паек числился в повышенных.

Адель прибежала еще до того, как бригады стали собираться на возврат в зону. Стрелок вошел в мою комнатку, без внимания посмотрел на Адель и с уважением уставился на стенд, где я разместил среди приборов все, что удалось заначить из месячного пайка и утаить из питьевых материалов, выдаваемых для анализов и экспериментов.

— Угощайся, батя! — сказал я стрелку, протянув полстакана разведенного спирта и бутерброд с куском американской консервированной колбасы, — он был старше меня на полтора десятка лет и охотно принимал почтительное обращение, вместо обычного «вохровец» или «стрелок», тем более оскорбительного «попка».

Он сперва жадно набросился на бутерброд, потом одним махом осушил свою порцию спирта и сказал, запахивая шинель — на дворе уже похолодало, осень переходила в зиму:

— Спасибо, ребята. Насчет вахты не беспокойтесь. Скажу, чтобы пропустили, не придираясь.

Он пошел уводить собравшуюся бригаду, а мы с Аделью приступили к ужину. Как и стрелок, она не торопилась пить, а ела с охотой, в ее конторе не выдавались, как у нас, дополнительные продукты за вредность производства. Она призналась со смехом, что до сегодняшнего дня всего дважды пробовала водку, в Ташкенте, где еще с тридцатых годов проводили ссылку ее отец с матерью и она с ними, пьют сладкий местный кагор, а не водку. Поэтому она страшится, не слишком ли крепко я развел спирт. Наконец, она чокнулась со мной и осушила четверть стакана. Я поспешно подсунул ей закуску и снова плеснул в стаканы. В это время в дверь просунулась голова Кожевникова. Я забыл, назначая свиданье с Аделью, что в эту неделю он выходил на работу не днем, а в вечернюю смену, электролиз шел круглосуточно, все электролитчики распределялись по сменам.

— Я занят, Андрей Виссарионович, — сказал я недовольно.

Он зашептал, очень взволнованный:

— Выйдите на минутку, надо кое-что сказать.

Я вышел, прикрыв на ключ двери комнаты, чтобы туда никто не забрался во время моего отсутствия. Кожевников отвел меня в сторонку. Таким взбудораженным я его еще не знал.

— Сергей Александрович, я должен вам прежде всего сказать, что ваша подруга... В общем, это не мое дело, она вам нравится. Но просто я обязан сообщить, чтобы потом не корить себя. Эта Адель Войцеховская тайно ходит в лагерную поликлинику.

— Я тоже хожу в поликлинику, когда одолевает хворь. Что из того?

Он все больше терялся.

— Нет, я подумал... Она скрывает свою болезнь... Я бы на вашем месте узнал... Все-таки лагерь, всякое случается.

Я рассердился. Он явился не вовремя.

— На моем месте вы никогда не сможете быть, как и я на вашем. И допытываться о характере женских хворей не считаю тактичным. Если болезнь может помешать нашим отношениям, она сама о ней скажет. Вы о чем-то еще хотели меня информировать, Андрей Виссарионович?

Вторую новость он выложил спокойней и ясней.

— В нашей производственной зоне с вечерним разводом появился Руда. Вы знаете этого человека? Он ищет вас. Он спрашивал, где находится ваша комната, только ему не показали. Всем известно, что он давно ухаживает за Аделью. Наверно, разузнал, что вы уединились, и собирается помешать вашей встрече.

— Спасибо за важную весть. Больше ничего нет?

— Больше ничего. Я буду в электролизной. Если понадобится, кликните меня погромче.

Я воротился к себе, но перед дверью остановился, чтобы успокоиться. Во мне клокотала ярость. Дело было не в сообщении об Адели, а в появлении Руды. Я хорошо знал эту двуногую тварь, хотя ни разу с ним не общался. Мой новый знакомый, а в дальнейшем друг на всю жизнь, Слава Никитин в первые дни войны по доносу Руды был вторично посажен в тюрьму, когда уже истекал его первый пятилетний срок за болтовню. И недавно вышел из тюрьмы уже со вторым, на этот раз десятилетним сроком. Руда тоже побывал в тюрьме, тоже получил повторный срок, но поменьше — вознаградили мягкостью наказания за то, что оклеветал с десяток знакомых, одного, кажется, расстреляли. После страшного Кордубайло, придумавшего Повстанческую организацию в Норильске и потянувшего за собой в могилу больше десяти человек, Руда считался самым крупным из местных стукачей. Я ненавидел его уже задолго до того, как увидел в лицо. И этот человек появился у нас в зоне, чтобы отыскать меня и помешать моей встрече с Аделью. Мои мускулы вздувались от жажды схватиться с ним.

Адель удивленно взглянула на меня — я, наверно, весь побагровел от подавляемого бешенства.

— Что-нибудь случилось важное?

Пришлось сделать большое усилие, чтобы не выдать себя.

— Небольшие неполадки в электролизном. Давайте пить и есть.

Она быстро хмелела. Она не лгала, признаваясь, что почти не знала водки, а только узбекский кагор. Она вдруг вспомнила прежнюю жизнь. Я уже знал и еще больше убедился впоследствии в том, что женщины, сходясь душой с новыми друзьями, охотно вдаются в повести о прежних увлечениях, любовных радостях и обидах. Потребность в исповеди неистребима в человеке — а у женщины она много сильней, чем у мужчины. Мне всегда казалось, что подобная исповедь необходима женщине как своеобразное очищение души перед новым увлечением. И хотя близкий мужчина решительно не годится на роль исповедника и откровенность его подруги почти всегда идет ей лишь во вред, женщина не способна его предвидеть. Налаженная служба исповедания в церкви, у нас отвергнутая, спасала прежде тысячи влюбленных пар, которые ныне распадаются под влиянием неосторожных признаний.

И я ожидал, что Адель заговорит со мной о прежних своих любовных драмах — откроет душу, как самой ей будет казаться. Но она заговорила о трудной жизни своих родителей, о всяческих лишениях, ставших не только фоном, но и содержанием ее детства. Социальные муки были у нее пока сильней любовных.

Во время ее излияний кто-то тихо постучал в дверь. Кожевников так не стучал, своих товарищей я не ждал. Это мог быть только Руда. Я попросил извинения у Адели и пошел открывать двери. В углу стояли термопары — стальные трубы с вмонтированными в них двумя проволоками — платиновой и платинородиевой, при нагревании которых появлялось электричество — мера температуры, измеряемой драгоценными проволочками. Я схватил одну термопару и шагнул наружу.

Перед дверью стоял Руда.

— Мне надо срочно поговорить с Войцехович, — заявил он, делая шаг вперед.

— А мне надо срочно изуродовать тебя, — ответил я и ударил его термопарой по голове.

Он завопил и отшатнулся. Удар пришелся по плечу. Силы наши были неравны, он пришел с голыми руками, это неэффективно. Стальная же труба всегда оружие действенное, особенно, если ею орудуют с ожесточением. На крик Руды из электролизной выскочил Кожевников. Я нанес второй удар. Руда, закричав еще громче, бросился наутек.

— Нажили злого врага, — сокрушенно прокомментировал Кожевников.

— Проучил злого врага, — отпарировал я.

— Он теперь напишет на вас телегу. Вы еще с ним встретитесь.

— Он будет теперь избегать со мной встречаться. Постараюсь довести до его сведения, что превращу его в калеку, если захочет стучать на меня. После первого же вызова в хитрый дом пойду подводить сальдо с бульдой. И опять явлюсь не с голыми руками. Он подлец, но не дурак. Не захочет слишком рисковать.

— Я проведаю, куда он подался, — сказал Кожевников. — Если пойдет собирать на вас стрелков, дежурящих в соседних объектах, предупрежу.

Я воротился к себе. Адель крепко спала. Она положила голову на стенд, красивые волосы разметались, она тихонько посапывала, лицо порозовело — то ли со сна, то ли от водки. Я смотрел на нее, любовался ею, печалился о ней. Надо было ее разбудить, я не сделал этого — она очень красиво спала. В дверь снова просунулся Кожевников. Я вышел наружу.

— Я Руду не нашел, — сказал он. — Но один из соседней бригады видел его в зернохранилище. Он подобрался к телефону, позвонил на вахту.

— Стучал на нас?

— Сообщил, что в бригаде опытного завода будут двое пьяных, надо их поймать и изолировать. Что будете делать?

— Что я могу? Постараюсь держаться покрепче на ногах. С Аделью хуже, она совсем опьянела.

Время подошло к разводу. Я разбудил Адель. Она таращила на меня «недоспанные» глаза, попросила воды. Воды я ей не дал, могло сильней развезти. Бригаду вел второй наш стрелок, помоложе и похуже нравом конвоира. Адель нетвердо двигалась между мной и Кожевниковым. К счастью, ночной стрелок не заметил ее состояния. У вахты лагеря нас остановили. Главный вахтер, из самых придирчивых вохровцев, это мы все знали о нем, вышел и возгласил:

— Бригада, стой. Имею сигнал, что в бригаде нарушители. Буду проверять, кто напился.

Он шел от ряда к ряду, всматриваясь в каждого заключенного. Вахтенная люстра светила беспощадно ярко. Адель покачивалась, хватаясь то за меня, то за Кожевникова. Я заметил, что в зоне притаился за столбом Руда — хотел поглядеть, как на его глазах нас с Аделью потащат в карцер. Вахтер, добравшись до нашего ряда, безошибочно ткнул в меня пальцем:

— Ты! Выходи из ряда. Дыхни покрепче. Я вышел и дохнул. Вахтер с наслаждением втянул ноздрями винный дух из моего рта.

— Еще крепче дыхни!

Я дохнул изо всей силы. Вахтер объявил:

— Трезвый, как стеклышко. Ступай в ряд. Бригада, шагай в зону.

Войдя в зону, я прежде всего поискал глазами Руду. Руда скрылся сразу же, как только вахтер объявил меня трезвым. Мы с Кожевниковым под руки отвели Адель к женскому бараку.

Утром я посетил Адель в ее конторе. От вчерашнего опьянения и следа не осталось. Она весело смеялась и заверяла, что надолго запомнит прекрасный вечерок вдвоем. О том, чтобы устроить повторную встречу, она не заикнулась, я тоже не предложил. Быстро завязавшаяся дружба ни во что серьезное не перешла.

Скажу еще несколько слов об этой женщине с красивыми волосами, удивительными глазами и великолепной фигурой. Дальнейшая ее жизнь была печальной. Лагерное существование даже для привычных к нему лбов и духариков не схоже с отдыхом в санаториях. Все лучшее оставалось при Адели — и волосы, и глаза, и фигура. Но та болезнь, о какой узнал Кожевников и природы какой не понял, нашла в лагерной скудости отличную почву для расцвета. К тому же Адель не разобралась в перспективах грядущего. Она верила — настанет свобода, придут и радости, неведомые в лагере. Она с убежденностью доказывала нашей доброй сослуживице, инженеру-металлургу Евгении Семеновне Бабушкиной, не строившей себе никаких иллюзий касательно будущего:

— На воле немедленно выйду замуж. Мужа возьму с хорошим положением. Меньше, чем на второй литере по снабжению, не помирюсь.

Но выйдя на волю, она потеряла все преимущества, какими пользовалась в зоне, приобретя взамен слишком мало новых благ. В лагере ее окружало внимание мужчин, за ней ухаживали, ее добивались. Ничего похожего не ждало ее на воле. Она вышла на свободу сразу после окончания войны. Молодые мужчины приемлемого возраста, женихи ее поколения, были выбиты на войне — от парней, родившихся в 1920—24 гг., сохранилось в живых меньше пяти процентов. Двадцать миллионов женщин, оставшихся без женихов и мужей, составили непреодолимую конкуренцию для подобных ей — недавно выбравшихся из заключения. К тому же Адель была тяжко больна и уже не могла этого скрывать. Муж с положением и литером ей не повстречался. Еды стало больше, еда стала вкусней, но это не компенсировало поразившего ее ледяного одиночества. Жизнь ее была парадоксальна. Лагерь был тяжким наказанием за несуществующую вину, но ей было лучше в лагере, чем на воле. Она до самой смерти отчаянно боролась с одолевшей ее несправедливостью вольной жизни.

Адель Войцехович умерла от туберкулеза, не дожив до тридцати лет.

### 4

Мне удалось перебраться из опытного цеха на недавно пущенный Большой металлургический завод. И ежедневные беседы с Кожевниковым оборвались. Мы жили в одном бараке, каждый день встречались, но в стоголосой сутолоке стало не до мирных разговоров, тем более, что чая вскипятить здесь не было возможности — пили бурду, приносимую дневальным из единственной в зоне кипятилки.

Спустя года два, после окончания войны, Кожевников освободился — выпала «досрочка» за хорошее поведение и отличную работу. Зверев, теперь уже начальник комбината, старавшийся не показывать, что его с Кожевниковым связывает старое знакомство, все же постарался компенсировать эту отстраненность хлопотами в Москве об «укоротке срока». Кожевников остался на старой работе и, не дожидаясь, когда выпадет счастье на комнату в строящихся многоэтажных домах, энергично создавал собственную квартиру — халупу на одну комнатку с кухней, она же прихожая — в районе главного «Шанхая», около озерка Четырехугольного, где таких халуп — их именовали в Норильске балками — скопилось уже несколько сотен.

Вскоре я узнал и причину внезапно овладевшего им строительного ажиотажа. Он задумал жениться на одной из недавних лагерниц. Нужно было отыскать что-то не обыкновенное, чтобы пробудить в равнодушном к женщинам Кожевникове жажду семейного гнездышка. Мне заранее рисовалась женщина цветущих лет, умная, интеллигентная, хорошая хозяйка, конечно, великая мастерица чайных церемоний, заботливая подруга... Лишь человек таких выдающихся кондиций мог заинтересовать моего друга.

Но то, что я узнал о Нине, так звали его подругу, не подтверждало рисовавшийся мне идеальный образ. Она, конечно, была интеллигентна, все же дочь профессора, и сидела по вполне интеллигентной статье — за недопустимые высказывания о наших партийных руководителях. Но все остальное противоречило этим сведениям. Нина в лагере связалась с уголовниками, часто меняла недолговечных друзей — все они были из «своих в доску». Меньше всего Кожевникова могла увлечь такая женщина, а он увлекся. У меня создалось единственное объяснение: он ничего не знает об истинной натуре своей избранницы, она обдурила его, обдуманно скрыла себя, столь же обдуманно играет роль вполне достойной дамы.

Мне захотелось с ней увидеться, чтобы правильно оценить любовную аварию Андрея Виссарионовича.

Случай представился скоро. Мы с ним встретились на каком-то совещании, он пригласил меня на новоселье, начертил на бумаге схему улочек и балков — без такой схемы и думать нечего было пробраться в лабиринте «Шанхая» без провожатого. Я пообещал явиться в ближайшее воскресенье.

В назначенный день, после долгих блужданий со схемой в руках, я наконец обнаружил его балок. Он внушительно отличался от соседей. Он был солиден. Соседние хижины монтировались из разной строительной непотребы — кривых горбылей, рваной фанеры, жести. На иных стенах были заплаты из картонных ящиков, в них в годы ленд-лиза доставлялись консервы из Америки. Балок Кожевникова возводился, конечно, тоже не из бревен и кирпича, но доски были досками, а не резаной фанерой, и крышу покрывала настоящая жесть, а не рваная парусина и не солома, привезенная с материка в местный совхоз и оттуда украденная.

Я постучал, женский голос крикнул изнутри: «Войдите!» Голос был приятен, без лагерных интонаций. Таким голосом мог говорить только культурный человек. Я вошел, разделся в прихожей. В комнате, на единственной кровати, лежала молодая женщина, худая, с довольно приятным лицом. В комнате у стола стояли две табуретки. Женщина показала на одну.

— Садитесь. Я вас знаю, вас зовут Сергей Александрович. Андрей скоро придет. Будете пока развлекать меня, Сережа. Надеюсь, вы умеете?

— А как развлекать, Нина?.. Простите, не знаю отчества.

— И не надо знать. Я сама его временами забываю. Развлекать будете так. Расскажите что-нибудь, чего я не знаю. И непременно захватывающее.

— Смотря что вас захватывает. Английский министр иностранных дел Бивен вчера схватился с нашим заикой Молотовым — подойдет? Еще знаю пару историй о Рокамболе из сочинений господина Понсон дю Террайля, могу и о баскервильской собаке.

Она расхохоталась. Она красиво смеялась. И она великолепно ощущала иронию.

— Молотов мне противен, ненавижу усатых. Собака ми не увлекаюсь, лучше кошки. О кошках вы ничего не знаете?

— Только о коте, который бродит сам по себе.

— Выдумка, таких котов не бывает. Наверно, подстерегал кошку или прозаически охотился за мышами. Еще ни разу не встречала мечтателя с хвостом.

Так мы перебрасывались с ней шутками до прихода Андрея Виссарионовича. Одновременно я разглядывал и ее, и квартиру. Она не подумала подниматься с постели, хоть была одета. Квартира поражала роскошью отнюдь не «балочной архитектуры». И стол, и обе табуретки были сбиты надежно, кровать, наверно, тоже не шаталась и не скрипела. Над кроватью был намертво пригвожден к стене настоящий ковер — не целующиеся голубки на рогоже и не машинные немецкие поделки, после войны населившие чуть ли не каждую вторую квартиру, — олени на фоне сентиментально нарядных гор. Нина мне понравилась — непринужденностью разговора и культурой речи, она даже вставила вполне уместно несколько ходячих латинских фраз. Все это мало сочеталось с теми сплетнями, какие я о ней слышал.

— Как хорошо, что вы пришли! — обрадовался Кожевников, войдя в комнату. — Сейчас я приготовлю наш старый любимый чай. — Он озабоченно повернулся к Нине: — Прости, не спросил — может, ты хочешь кофе?

— Чай так чай, — равнодушно сказала она. — Сегодня обойдусь без кофе.

Она и не подумала вставать, когда пришел Кожевников. Я спросил:

— Можно больше не занимать вас новостями о кошках или дипломатах в ООН? Вы, наверно, хотите помочь Андрею Виссарионовичу приготовить стол? Разрешите помочь — где у вас скатерть и стаканы?

— Не надо. Андрей все приготовит сам. Он отлично справляется с хозяйством. Это его хобби.

Тогда я задал другой вопрос:

— Мне кажется, вы нездоровы, Нина? Все время лежите на кровати. Боюсь, я пришел не в лучшее время.

Она зевнула, прежде чем ответила:

— Выбрали самое хорошее время. Я не больна, только ленюсь. Андрею очень нравится, что я лентяйничаю. Надо потворствовать даже нездоровым желаниям главы дома. Я стараюсь ему угождать.

Когда Андрей Виссарионович расставил на столе чашки, а затем внес чайник с кипятком и заварку в кофейнике, ей все же пришлось встать. У нее оказалась хорошая фигура, худощавая, но хорошо очерченная. Такую фигуру можно было не скрывать, валяясь на кровати.

Когда я уходил, оба взяли с меня слово, что я не замедлю снова посетить их убежище. Она, правда, сказала не убежище, а конуру.

Вторичное посещение вышло не скоро. Знакомство рисовало мне совсем другого человека, чем описывали слухи. Я придирчиво допрашивал знакомых, знавших ее в лагерной жизни. Старые слухи снова подтверждались. Было несглаживаемое противоречие между той женщиной, о какой говорили, и той, какую я увидел.

Противоречие исчезло, когда я пришел к ним во второй раз. Кожевникова не было, он по каким-то делам уехал на пару дней в Дудинку. Нина пригласила меня к столу, предложила закусить и выпить. Мне показалось, что она уже нахмеле. Я отказался и от питья, и от закусок. Она укоризненно покачала головой.

— Напрасно пренебрегаете. А я, когда Андрея нет, немного принимаю. Он строго следит за мной, говорит, что пить для моего здоровья вредно. Даже угрожал побить, если увидит пьяной. Но вы, Сережа, не настучите на меня, правда? За ваше здоровье!

Она залпом опрокинула рюмку, но закуски не взяла. Надо было уходить. Неловко и неприятно сидеть с подругой твоего товарища, которая в одиночку развязно пьет, когда ты отказался составить ей компанию.

Она задержала меня рукой, когда я встал.

— Куда вы торопитесь, Сережа? Андрей воротится только завтра вечером. Оставайтесь. У нас кровать широкая, отлично разместимся вдвоем.

Я сказал:

— Очень жалею, Нина, что вы женщина, а не мужчина. Как бы мы с вами побеседовали, будь вы в брюках, а не в юбке!

Она почти сочувственно проговорила:

— Вы, оказывается, гомик? Вот уж не ожидала. Внешне вы похожи на нормального мужчину.

— Я вполне нормальный мужчина, Нина. Просто я избил бы вас так, как злополучную Сидорову козу ни разу не избивали. Но на женщину у меня рука не поднимается.

— Воспользуюсь тем, что у вас неподъемная рука. Ужасно не люблю, когда меня бьют, особенно как Сидорову козу. Между прочим, я как-то узнала, что эта знаменитая коза принадлежала не Сидору, а Кузьме. Вы не находите, что этот новый факт вносит существенные коррективы не только во взаимоотношения козы и ее хозяина, но и в обычные отношения мужчины и женщины?

Она хохотала. Ее темные бесстыжие глаза зазывающе впивались в меня. Она издевалась ради самой издевки, а не для обороны от моего негодования. Я скверно выругался и ушел. Она запустила мне в спину изощренным матом.

Весь этот день, вспоминая наш разговор, я то снова вскипал, то хохотал. Мне очень понравилась ее шутка насчет сидоровой козы, через несколько лет я вставил ее в говорню одного остряка в моем первом романе. И ужасало, что будет с Кожевниковым, когда он доведается, что за штучка его жена. В конце концов он должен все о ней узнать. Но не от меня, решил я. Совесть не позволяла мне развеять его иллюзии.

Он узнал о ней много раньше «конца концов». По Норильску распространилась жутковатая история о его реакции на поведение жены. Видимо, он что-то заподозрил и потому внезапно явился домой не вечером, а в середине дня. Нина в это время лежала в постели с одним из своих лагерных дружков. Я уже упоминал, что коренастый широкоплечий Кожевников отличался незаурядной силой. Бешенство усилило его природную потенцию. Любовник жены, избитый до потери голоса, был голым выброшен наружу в снег. И только после его исторжения из балка на мороз вслед полетели одежда и валенки. Затем настала очередь жены. Никто не видел ее синяков, но знали, что она неделю не выходила из балка — лежала в постели уже не от демонстрационной лени, а по физической необходимости.

Домой к Кожевникову я не пошел, опасался разговора о неверности Нины. Я предвидел, что он обрушит на меня всю горечь сетования на женскую недостойную природу и запальчиво подтвердит, что он всегда с пренебрежением относился к этой половине человечества. И вот — худшие его оценки подтвердились. Нину я еще мог обругать, но он, несомненно, напустится на всех женщин чохом — и тогда, совсем не к месту и совсем не вовремя, мне придется встать на их защиту. И обвинить его самого — должен был заранее доведаться, кого выбирать в жены, — сам прошляпил. Это могло закончиться первой ссорой за многие годы дружбы — я очень боялся такого финала.

Но он явился ко мне сам. Разговор пошел и о Нине, но он был не таким, как мне вообразился.

— Хочу проститься с вами, Сергей Александрович, надо менять обстановку. Нина постоянно болеет — то печень, то почки, а теперь и с желудком плохо. Мы в это лето поехали с ней в Москву, ходили по разным знаменитостям. Диагноз у всех один — немедленно распроститься с Заполярьем. Срочно на юг, к теплому морю, к свежему молоку, к фруктам и овощам.

Я поинтересовался:

— Значит, вывозите Нину? Куда же наметились?

— В Болгарию, на Балканы. В министерстве меня еще помнят по доарестным делам. И Зверев, отпуская из Норильска, дает хорошую характеристику. Предложили главным инженером строящегося полиметаллургического завода. Врачи одобряют — горный воздух, неподалеку Черное море... Может, вытяну Нину...

Я спросил острожно:

— Неужели так плохо, что опасаетесь?..

Очень опасаюсь, — ответил он сумрачно. — Болезнь запущена. Долго скрывала от меня реальное состояние. Нина такая гордая. Почему-то всегда считала, что болезнь не столько несчастье, как унижение. Я ужаснулся, когда узнал, до чего дошло. А она все смеялась, подшучивала над собой. И сейчас посмеивается.

— Будем надеяться, что в Болгарии ей станет лучше.

— Будем надеяться, — повторил он. И, помолчав, добавил: — А если не станет — как стерпеть? Скажу вам по-честному — Нина для меня единственный свет в окошке. Несчастья с ней не перенесу.

Мне вдруг нестерпимо захотелось возразить ему. Он неоднократно ошибался в оценке самого себя. Разве не говорил он в начале войны, что отсутствие Сахара для него смертельно, что он не вынесет существования без частого вкушания нормального чая? Но несколько лет просуществовал без сладкого, пил один пустой чайный настой — и прекрасно себя чувствовал. И разве он не перенес равнодушно и безмятежно исчезновение из его жизни невесты, так и не ставшей женой? И разве ему раньше, всю добрую половину нормальной человеческой жизни, не было безразлично, что вообще существует такая порода людей — женщины? Он мог любоваться ими, мог разговаривать, шутить — жизненной необходимостью, основой, без которой не жить, они никогда не становились. В нем заговорила простая жалость к больному существу. Нина подруга неверная, лживая — но все же человек. Он будет страдать какое-то время, если она погибнет, но не более того.

К счастью, я ничего похожего ему не сказал.

Из Болгарии от него вестей не приходило. Он ни с кем не переписывался. Потом из Москвы дошло — Кожевников покончил с собой. Нина умерла, и он не пережил ее смерти. Я долго собирал разрозненные сведения, пока не вырисовалась ясная картина трагедии. Смена климата не помогла Нине. Она умирала долго и мучительно. И он, уже не сомневаясь, что ей не жить, стал заранее — неторопливо и деловито, как и все, что делал, — готовить свою собственную кончину: купил охотничье ружье, хотя даже охотничьего инстинкта не имел, не говоря уже об охотничьей практике; смастерил собственными руками станину для ружья; запасся шнуром, чтобы на расстоянии потянуть курок. И стал ждать конца — ее и своего. Некоторое время после ее смерти он столь же аккуратно совершал неотложные дела — подобрал хорошее место для погребения, торжественно похоронил Нину. И, воротившись с похорон, привел в действие свою конструкцию.

Кнут Гамсун, великий знаток любви, написал об одном из своих героев, что Господь его не одарил, а поразил любовью. Так же судьба расправилась и с моим другом Андреем Кожевниковым. Он долго стоял в стороне от любви, долго был равнодушен к ее волнениям, утехам и мукам. Но настал день — и любовь поразила его. Метко и беспощадно. Насмерть.